

Талант как форма сговора с современностью

«Аристотель родился, работал и умер» – таково идеальное описание биографического контекста теоретической работы. Но если даже сама задача философа с античных времен изменилась не слишком сильно, то степень вовлеченности в нее жизненных обстоятельств и вытекающие из этого способы конструирования той и другой (теории и автобиографии) изменились в огромной степени. Дитер Томэ, Ульрих Шмид и Венсан Кауфманн, как они сами подчеркивают, работают в русле *автобиографического поворота*, в рамках которого философские сочинения не принято изымать из жизненного контекста и отделять от жизнеописаний точно так же, как и с последних снимать подозрения в теоретичности. Дело не только в межжанровой диффузии, за слиянием или взаимным наложением диспозитивов двух этих жанров – теории и автобиографии – проступает давняя мечта «людей букв»: рассматривать письменную и жизненную активность как единое целое.

Именно по этому принципу отбираются две дюжины авторов XX века и для каждого из них отыскивается некое напряжение между измерениями теории и автобиографии, письма и жизни, тотальности и субверсии. При этом в очень компактных главах (от десяти до пятнадцати страниц) раскрывается, как эта оппозиция была представлена в работах конкретного мыслителя и как она развивалась – порой, достаточно драматично – в течение его или ее жизни. Тем самым несколько по преимуществу французских, немецких и русских авторов складываются в кажущийся достаточно репрезентативным набор вариантов: тут есть и апологеты духовного доминирования (Лукач, Сартр, Адорно), и авторы, трогательно преданные «внешней жизни» (Беньямин, Кракауэр, Бретон), и адепты субверсии (Батай, Бланшо, Фуко). Возможно, главным достоинством книги как раз и является не детальный (хотя и достаточно вдохновляющий) разбор каждой из интеллектуальных биографий или последовательный пересказ теорий, но сам охват, сохраняемый ритм и соблюдаемый угол обзора, позволяющие пройтись по корешкам сразу нескольких теоретических корпусов и по вехам сразу нескольких (типов) биографий.

Из разделяемой абсолютно всеми фигурантами книги одержимости письмом складывается интеллектуальная карта XX века, включающая разные конкурирующие течения («теплого» и «холодного» марксизма), враждующие лагеря (сюрреалистский, франкфуртский и другие) или даже целые династические

кусты (Батай, Лейрис, Лакан). Какая-то часть поля может объединяться разработкой определенного понятия, вроде пресловутой смерти автора, представленной сразу в нескольких версиях в работах Бахтина и Батая, Бланшо и Барта, Фуко и Деррида. Другая часть, в какой-то мере пересекающаяся с первой, – институциональной принадлежностью (к примеру, к Collège de France, принятие в который никогда не остается не упомянутым в книге) и, как следствие, определенным положением в контексте производственных отношений культуры и отношением к истеблишменту. Регистрируются на этой карте и причуды рельефа, малопонятные при взгляде из сегодняшнего дня: так, почти каждый из рассматриваемых авторов – и структуралист, и телькелевец, и участник или наследник духа Коллежа социологии – почитал своим долгом отстраниться от сартровской доктрины ангажированности. Кто же тогда ее поддержал и почему она вообще являлась поводом для столь интенсивного размежевания, выглядит загадкой.

Что становится внезапно видно при таком большом масштабе – так это, к примеру, как теоретическая интрига между непосредственной действительностью, схватываемая новыми техниками репрезентации вроде кино, и накладываемыми на нее жанровыми схемами и моделями понимания – в 1920–1930-е годы, как правило, гегельянскими – постепенно сменяется другими, в которых в 1950–1960-е критическая инициатива переходит к эксцессу самого письма, противопоставленного внешним ограничениям общества зрелищ и культурной индустрии.

Стоит сказать также о тех композиционных удачах, которые словно подбрасываются самой жизнью или, точнее, датами рождения фигурантов, согласно которым выстроена очередность глав. Так, родившиеся с разницей всего в четыре года Кракауэр и Беньямин оказываются в дружеской близости и в книге, позволяющей эллиптические отсылки к соседней главе. В свою очередь Бретон, Батай и Лейрис, родившиеся с 1896-го по 1901-й и идущие друг за другом в последовательности глав, образуют отдельный микросюжет, связанный с историей отношений между сюрреализмом и Коллежем социологии. Следующие сразу за ними Сартр, Арендт, Бланшо и Леви-Стросс, родившиеся с 1905-го по 1908-й, образуют констелляцию тех, на чьей (в том числе теоретической) судьбе и репутации различным, но равно выразительным образом отразилась история войны и еврейской эмиграции в Америку, французского Сопротивления и

французского коллаборационизма. Наконец рожденные в 1930–1931 годы и идущие в книге друг за другом Бурдьё, Деррида и Дебор представляют собой три различных сценария отношений интеллектуалов с властью, объединенных однако тем, что их интеллектуальная зрелость совпала с культурой *soixante-huitard*.

Наряду с этой, наиболее очевидной, линейной группировкой героев книги авторы допускают перекрестную рифмовку идей и биографий. Так, экспедиции и автоэтнография Лейриса оказываются репетицией «Печальных тропиков» Леви-Стросса, в главе о котором первому посвящен не один абзац. В какой-то момент читатель рискует и сам начать обнаруживать логику тайных пар и двойников. Так, главы о Шкловском и Деррида, находящиеся на достаточной дистанции друг от друга, подсказывают автобиографическую аналогию остранения и деконструкции, отправляемых прежде всего самими историческими обстоятельствами в отношении будущих изобретателей этих концептов (и вполне возможно и подтолкнувших их к этому теоретическому изобретению). В качестве дополнительной рифмы выступает также равно автобиографический характер фикционализированной переписки в «Zoo, или Письмах не о любви» и «Почтовой открытке», чему, возможно, посвящено уже или может быть посвящено в будущем отдельное монографическое исследование.

Наконец, можно отметить и «метафизические сюжеты», сквозные для отдельных национальных теоретических традиций. Для условных немцев (включая венского еврея Витгенштейна и форменного космополита Бенямина) и условных русских (представленных Шкловским, Бахтиным, Лотманом или болгаркой Кристевой) базовой, как правило, остается оппозиция между мыслью/языком и миром, вопросы соотношения между трансцендентальной инициативой и правдой материала. Для французов же (среди которых тоже преобладают «безродные интеллектуалы») такой «национальной» интригой оказывается вечный раздор между письмом и жизнью, а следуя из такого – отглагольного – понимания письма (говорения, категории высказывания в целом), оппозиция между действием по конституированию собственного бытия и жизнью непосредственной, субверсивной субъективности (включая сюда и вариацию ее культивируемого умирания и невозможного свидетельствования о ней).

Другими словами, если германско-славянской страсти к реальности противостоит – и тем самым акцентируется – *фактура* и материальность языка (отсюда, к слову, родом и немецко-русские авангарды – заумь, конкретистская поэзия), то

французы оказываются более чувствительны скорее к *фактичности* высказывания, стихии речи и актам письма (в чем можно соответственно обнаружить исходные интуиции дискурсивного анализа и прагматической поэтики).

Собственно, эта гипотетическая навигация подтверждается и условным разделением труда, в котором признаются авторы книги при сохраняющейся презумпции соавторства: Дитер Томэ сосредоточен на представителях германского духа (включая пару англосаксов), Ульрих Шмид – на восточном лагере^[8] (с добавлением Барта и Бурдьё), а Венсан Кауфманн – на французской теории. Несколько примечательных интервенций в соседнюю культурную юрисдикцию сигнализируют о том, что центр тяжести в целом смещен к последней, то есть к французам, что становится особенно заметно ко второй половине века и книги. Но это и неудивительно, учитывая академическое господство постструктурализма (с примесями феноменологии и герменевтики) на протяжении последних десятилетий. Впрочем, если иногда и кажется, что кого-то не хватает, то еще пары-тройки французов (вроде Режи Дебрэ, о судьбе которого можно было бы немало сказать и чья теоретическая ангажированность прекрасно примыкает к постбатаевской антропологии сакрального, или Луи Альтюссера, чья теория сверхдетерминации может быть связана с убийством собственной жены, что так и просится в качестве предмета всегда деликатного, но никогда не упускающего ссылок на мифологизированные сюжеты описания, характерного для соавторов рецензируемой книги).

Впрочем, нужно отдать должное авторам книги и отметить, что, словно желая уйти от чрезвычайно фалло- и этноцентричной картины, они посвящают последнюю главу не только женщине, представительнице «восточного лагеря», но и оппоненту всеобъемлющей деконструктивистской текстуальности. Речь идет о скорее всего не известной читателю Наде Петёфски, смещающей акцент с утраты-себя-на-письме к возможностям перформативного самоучреждения субъекта, что выглядит вполне оптимистическим завершением книги. Впрочем, концентрация женщин к концу века и к финалу книги вообще возрастает, что не только свидетельствует об успехах феминистской критики патриархального распределения академических шансов и домашних обязанностей, но и совпадает с некоторой реферативной вторичностью этих недавних теоретических программ. Так Сюзен Зонтаг предстает (и, вероятно, не только авторам книги) в качестве

«младшей сестры Сартра», отправляющей схожий культ самостановления, проходящей через самостилизацию под (анти)автобиографические интуиции Беньямина и в конце приходящей к популяризации идей Барта и Фуко об опосредованности субъекта языком, что не добавляет практически ничего нового (кроме акцента на оргазме) к тому, что уже было сказано восхищающими ее предшественниками. Юлия Кристева оказывается фигурой, еще более доминируемой, причем не только со стороны старших, но и со стороны «более французских» коллег из круга «Tel Quel», так что ее тезисы об интертекстуальности не так-то просто различить в зазоре между идеями Бахтина и Деррида.

Возможно, главное, что объединяет всех героев книги (и что позволяет дополнить их ряд) – это определенная дисциплина самовыстраивания и весьма аскетичная или усмиренная семейственность; поразительная письменная продуктивность и интенсивность проживания переживших на их долю исторических событий; наконец, абсолютная самоуглубленность и вместе с тем та или иная форма сговора с современностью, которая и зовется в позднейших формулировках «талантом». Все фигуранты – отщепенцы, но многие из них – почетные профессора Collège de France. В конце концов «Вторжение жизни» читается как методическое пособие по совмещению субверсивных жизненных стратегий с максимально эффективным продвижением по академической службе. Сколь угодно далекое путешествие и даже вынужденная эмиграция искупается позднейшим признанием согласно некому общему циклу, в котором национальное или институциональное изгнание оказывается столь же необходимой стадией, как и другие «годы учений и странствий» (Леви-Стросс, Арендт, Деррида, Бурдьё). Одна из глав (о Бурдьё) так и называется: «Еретичный карьерист», и именно на примере Бурдьё сама налаженность этого трансфера во французской культуре была осознана и, разумеется, раскритикована – что не помешало ее критикам стать его же желанной жертвой.

Нельзя оставить без внимания и переводческую работу, приложенную к этому гибриднему в жанровом отношении и распределенному между тремя соавторами (и, следовательно, стилями) сочинению. Михаил Маяцкий сумел соблюсти тот самый баланс между терминологической строгостью передаваемых (к тому же из чужих рук) теоретических построений и живой интонацией повествования о биографических коллизиях, который удавалось соблюдать – на письме и в жизни

– тем, о ком мы читаем. За исключением нескольких досадных ошибок (как в случае Сартра, которому приписано авторство биографии младоструктуралиста Женета, вместо действительно ему принадлежащей биографии Жана Жене, с. 160), незначительных речевых ошибок (как в случае «долго забытых родственников», которым внезапно посылается открытка, с. 326; или «таких биологических и социальных *излишеств*, как смерть и отчуждение», защитой от которых целиком занят субъект у Кристевой, с. 308) и не самых очевидных стилистических и терминологических решений (как в случае «вегетирования» на месте явно просящегося «прозябания»[\[9\]](#) и «программатического» вместо «программного» указания, с. 203), которые остаются скорее на совести корректора[\[10\]](#), эта работа выполнена на редко добросовестном для стремительно растущего российского рынка переводной интеллектуальной литературы уровне.

Павел Арсеньев